

Змеелов -2/ продолжение

Category: Kitarcsy, Powestler

написано kitarcsy | 22 января, 2025

Змеелов -2/ продолжение Еще, казалось, не остыло тепло рук Петра Григорьевича, собравших своего тигра, вдохнувших в него жизнь. Петр Григорьевич, обзаведясь очередным таким зверем, сперва до последней гаечки разбирал его, неделями потом совершенствовал, не веря никаким фирмам с их изощренными инженерами и мастерами, а затем собирал, и выходила из его рук машина сил лошадиных на десять сильнее, чем то было обозначено в паспорте, выходила маневренней, сбросив килограммов на пять «жирка», заполучив какие-то особенно зоркие фары, особенно цепкие тормоза. Это занятие, эти вот механические тигры, которым была отведена комната в квартире, ради которых и в первом этаже поселился, столь не престижном для москвича, – это было делом для души у Петра Григорьевича, а может быть, и вообще его делом на земле. Гонщик, механик, изобретатель. Это и осталось с ним, хотя был он, сколько Павел знал его и до того, как узнал его, директором небольшого винно-фруктово-овощного магазина. Сперва одного, потом другого, третьего. Адреса менялись, магазины были все такими же, не очень большими, не очень нарядными, с хорошим, впрочем, сколь было возможно, ассортиментом полагающихся в них товаров. Засиживаться на одном месте Петр Григорьевич не любил и друзьям не советовал. Уходил не тогда, когда «уходили», а в самый разгар успеха, налаженности в работе, когда в районе все начальство души в нем не чаяло, вот тогда-то он и уходил, «менял – его слова – шубу». И снова налаживал, улучшал работу, поднимал «торговую точку до восклицательного знака» – и снова уходил. С добрым именем, с высокой репутацией, а главное – Шорохов это потом понял, там, когда времени было много, чтобы все обдумать, – главное, что уходил Котов, не успев увязнуть в отношениях, легко порывая нити, а не тенеты, которые образуются в торговле долголетней работой на одном месте. И не хочешь, а образуются. Эти тенеты и сгубили Шорохова.

Он думал, что всегда сможет сбросить с плеч все там веревочки приятельств и обязательств, а попытался – и не смог. И потащило его на дно, вот именно что запутался. Где сам виноват, где другой виноват. Вдруг все эти «надо», «должен», «обязан» подняли голоса. Вдруг сам себе перестал быть хозяином.

А Петр Григорьевич Котов, как тот известный шахматист, его однофамилец, мог бы тоже именоваться гроссмейстером. В торговле. Но точнее будет, в той игре, в той науке, имя которой – жизнь. Менял свои магазинчики, гонял на своих звереподобных мотоциклах. Сказочно богат был, но не ухватишь, как и не догонишь, когда мчал он по шоссе. Откуда такой? Как стал таким? Ходили всякие слухи про прошлую жизнь Петра Котова. Рассказывали, что он из инженеров, что действительно был когда-то изобретателем, но где-то в чем-то не повезло, но сломалась судьба, говорили, что даже сидел он, правда, недолго, а уж потом вот и толкнулся в торговлю, оставив себе для души свои мотоциклы, возможность эту рвануть по шоссе со скоростью смерти и уцелеть. Он никогда не участвовал в гонках, кроссах, ему не нужны были призы, ему нужна была скорость, это чувство одоления оробелости души. Вот каким человеком был Петр Григорьевич Котов, каким разглядел его, пытаюсь понять, Шорохов, когда раздумывал – день за днем, день за днем – о своей жизни, своей неудаче, своем провале, беде своей.

Бессонной получилась ночь. Тот завод, с которым прикатил в Москву, пружина та, закрученная им до отказа еще в пути, раскручивалась теперь впустую, расходовалась на мысли, на спор с собой, на вопросы к себе. Не вышло, не удалось его возвращение в Москву, первый день огорошил неудачей. Человек, на которого надеялся, оказался смертельно больным, поверженным. Жена Петра Григорьевича, красивая, но, жаль, непомерно толстая женщина, почти не узнала Павла, занятая своей бедой.

– Что ж, поживите пока у нас, – сказала. – Раз Петр Григорьевич так распорядился... Верно, ему будет повеселей... – И весь разговор, и в слезы. – Лена, постели товарищу, сделай милость. – И ушла, по-старушечьи шаркая полными ногами. А

Павел помнил Тамару Ивановну царственно красивой, громогласной, плывущей в шаге, легкой, поворотливой, несмотря на полноту.

Беда, несчастье жило в этом доме, где пришлось ему заночевать и, возможно, придется прожить несколько дней, если действительно Петру Григорьевичу с ним будет повеселей. Не убегать же отсюда. Но не спалось. Своих бед было предостаточно. По сути, он начинал с нуля, прикатил в родной город в сорок лет без двух месяцев, не имея работы, да и права на какую-либо путную работу, прикатил с судимостью, а еще вот со званием – бывший. Бывший директор, бывший член партии, бывший муж, бывший отец. Стоп! А почему бывший отец? Сын забыл его, наверное, но он ему отец, он Сереже отец, родная кровь, сын был похож на него, памятно похож – себя разглядывая в зеркале, Павел умел вспомнить сына, мальчугана своего, так они были похожи. Стирал как бы ластиком по зеркалу свои годы, свою прожитость, пережитость, беды свои, врезавшиеся в лицо, и проглядывал тогда в нем сын, мальчик, – такие же глаза, синие из глубины, такой же крепкий нос, пробор этот с завитком русоватых, коротко стриженных жестких волос, губы одинаковые, нет, тут ластик ничего поделывать не мог, не стирались отцовские губы, не умягчались. Но такой же была шея у мальчика, крепкой, стройной, морщины на отцовской шее ластик стирал легко. В отца у паренька были плечи, сухие, сильные. Занимается ли он спортом? Отдала ли его хоть в какую-нибудь секцию мать? В двенадцать лет можно и гимнастикой, и плаванием увлечься. Он в двенадцать лет чем только не занимался. Любил бегать на короткие дистанции, получались у него прыжки в высоту. А Сережа, подрос ли? Как его мать кормит? Занимается им? Да что там, новый муж у бабы! Как он с мальчиком? Петр Григорьевич отозвался о нем хуже некуда. Может, все же добрый человек? Не спалось Павлу Шорохову.

Лена, дежурившая у больного по очереди с Тамарой Ивановной, на рассвете поскреблась к Павлу, принесла чай, рюмку коньяку.

– Слышу, не спите. Выпейте это. Чем нервы взбудоражили, тем и надо гасить.

Еще не рассвело даже, серым было окно. В дверях стояла

тоненькая женщина в белом халате, держа в протянутых руках стакан и рюмку. Лица было не видно. Только белая одежда и эти вот дары забвения в протянутых руках.

– Вы, как святая, – сказал Павел. – Но я не пью по утрам. Зарок дал. Когда стал работать на отлове, зарок дал Бабашу. Змеелову вообще нельзя пить, а уж утром – это все равно что к смерти себя приговаривать.

– Так вы теперь не змеелов, – сказала Лена. – Но это хорошо, что зарок верны.

– Нет, я и теперь змеелов. Еще не отвык. Да и не знаю, к чему другому буду привыкать.

– Вернетесь в свою торговлю?

– Если пустят.

– Там честно-то можно работать?

– Честно везде можно... А что я еще умею? На завод, на стройку? Кем?

– Трудно вам. А все-таки выпейте хоть чаю. – Лена поставила стакан на пол у двери, чтобы не переступить порога, и исчезла. Верно, чай помог, крепчайший этот чай, от которого и спокойный станет беспокойным, помог Павлу задремать под утро, но только до самого первого солнечного луча, заглянувшего в комнату. Привык просыпаться с первыми лучами. Привык и в яростную зарядку бросать сразу же тело. Да это и не зарядка была, это был бой, и не с одним, а с несколькими противниками, когда надо падать, прыгать, оборачиваться, и делать это все на миг быстрее, чем те, которые на тебя нападают, а те, которые на тебя нападают, умеют ловить птиц в полете. Это была наука Владимира Бабаша. Не зарядка, чтобы мускулы пели, а выучка в бою, чтобы не погибнуть уже сегодня или завтра, когда выйдешь на работу. Потому-то так и внедрилась в Павла эта наука, хотя проработал он змееловом всего год, даже меньше, если говорить о сезоне отлова, что не было и не могло быть у змеелова выбора. Либо – либо. За год, что поработал, погибло двое парней, старший брат Бабаша погиб.

В узкой комнате, да еще служившей гаражом для мотоцикла или, вернее, клеткой для тигра, трудно было по-настоящему размять себя. И надо было все время помнить, что в комнате через

коридор лежит тяжело больной человек. Не вышло на этот раз с зарядкой-боем. Только под душем, меняя воду с холодной на горячую – и рывками, рывками, – обрел немного бодрости Павел. Воду менял и так же, рывками, метался в мыслях от одного дела к другому, какие предстояли ему сегодня в Москве. Первым делом был сын. Взглянуть, хоть тайком. Нет, первым делом был костюм. Надо было купить костюм. Еще рубашку, галстук, ну, словом, все – он прикатил в Москву с маленьким чемоданчиком, в котором лежали четыре тысячи – змееловская его пайка, бритва, смена белья да вот еще пяток сказочно вкусных помидоров, так полюбившихся Петру Григорьевичу. И надо было свидеться с Костиком Бугровым. Вдруг испугался, похолодев под горячей струей, а что если и с ним что-то стряслось. И надо было, надо было, сколько всего надо было. Не зря ли приехал? Москва не принимала, как в непогодь аэродром. А сын? И ведь Москва была его родным городом. Стены ее, здания ее, Василий Блаженный на Красной площади и Манеж они его уже приняли. Метро приняло. Холодная вода, горячая вода. Загудела кровь. Ему всего сорок, даже нет сорока. Он в своей силе, он и в колонии умел постоять за себя, он змей не побоялся, пошел на их быстроту со своей быстротой, на их хитрость со своей хитростью. Так неужели? Нет, он сына украдкой рассматривать не будет, он поговорит с ним. Жена брала от его имени помощь. Стало быть, у него и право на это есть. Право! Не поймешь, что за слово. Простенькое, коротенькое, а ничего не понять. Право есть, а на самом-то деле его нету. Его надо завоевать, вырвать, это право. За что бы ни возмись, о чем бы ни подумай. Было время, было ему легко, слишком легко. Вот за это и платит. За все надо платить. Ошибка – плати. Думаешь, увернулся, забыли счет предъявить. Не надейся, предъявят. Через год, через пять лет. Хорошо бы и самому предъявить этот счет. Есть кому. Горячая вода, холодная вода – бушует кровь. Вот так! Вот так! Еще, еще круче!

4.

По записочке от Тамары Ивановны тут же, в Медведкове, в совсем

вроде невидном магазинчике, купил Павел финский отличный костюм, рубашку с кружевцами на груди, как для жениха, выбрал галстук не из худших, нашлись и хорошие туфли, тоже финские. Там же, где примерял все это, в комнатенке товароведа, переоделся во все новое, бросив в угол свой измученный туркменским солнцем костюм. Расплатился, прибавил сверху – все, как положено, выслушал от товароведа древнейшую одесскую байку про шмаровоза, который, переодевшись, превратился в лорда, и лордом, именно лордом, вышел на Полярную улицу, главный в Медведкове проспект. Высокий, поджарый, черный от загара явно не курортного, синеглазый, сильный, да, да, сильный, ловящий взгляды женщин, этих природных товароведов, а еще и оценщиц, чего вы стоите, мужички.

Лорд-то он лорд, но этот лорд робел в душе. Надо бы сейчас идти к сыну, а он все же еще вчера решил сперва повидать Костика. А что Костик? Главным был сын. Почему его вдруг так потянуло к мальчику, которого помнил совсем маленьким, да он и сейчас еще был всего лишь мальчуганом, встреча с которым сулила одну только боль? Не смог бы Шорохов, сколько бы ни думал, понять, что влекло его так властно к сыну. Инстинкт, любовь – все не то, не совсем еще то, хотя и инстинкт, и любовь конечно же владели им. Но мы хватаемся, когда нам худо, за надежду, это главное, за надежду, как за спасение, а сын сейчас был для Павла Шорохова надеждой. Когда нам худо, когда наша собственная жизнь явно не удастся, мы обращаемся к своим детям, веря, надеясь, что у них получится, что они возьмут от жизни то, чего не удалось взять нам, в детях тогда начинаем искать мы смысл своего дальнейшего существования. Но и это не все. Была вина перед сыном. Все пять лет эта вина жгла Павла. Когда нам худо, мы особенно чувствительны, мы начинаем выучиваться науке понимания, сочувствия, вины, надеясь, что и к нам так же отнесутся близкие люди. Но и это не все, еще не все. Когда тебе близко к сорока, когда разрушилась семья, померли отец и мать, когда запас твоего времени молодого почти исчерпан, вот тогда-то и начинаешь понимать, что наново зажечь очень трудно, что в прошлом, в прожитом надо искать опору. А прошлое было перечеркнуто, и только сын... Но и это не все.

Итак, он все же решил сперва ехать к Костику. От встречи с другом он ждал того подпора, который у друзей только и можно найти, помощи ждал не в делах, не в практических советах, а в неуловимости этой, в дружеском этом участии, делающем нас сильнее. А уж потом – к сыну. Шорохов почему-то верил, что в разгар лета сын остался в Москве. То была с горечью уверенность. Зброшен конечно же его Сережка, предоставлен самому себе.

Костик жил в самом центре старой Москвы, на Гоголевском бульваре, в доме из розоватого камня, туфа, кажется. Этот камень добыл для строительства дома, одного из первых довоенных кооперативов, какой-то очень ловкий человек, которого давно уже нет в живых, но который именно этим раздобытым в Армении туфом и остался в памяти потомков. Милый дом, он часто снился Павлу. Не свой, где жил, где родился, но где жила сейчас чужая и враждебная ему женщина, а дом Костика, где провел несчетно сколько времени в студенческие годы, где жило само радушие в лице Костиковой мамы. Крошечная квартирка, две узенькие комнаты с окнами на могучий тополь во дворе, крошечная кухня и запах кофе и оладий. Снятся ли запахи? Снятся. Этот запах кофе и оладий иногда, очень редко, снился Павлу. То был из счастливых сон. Студентом Костик жил бедно. Отец его давно умер, мать работала счетоводом, что-то шила, вязала, Костик тоже где-то что-то пытался заработать, но многого не мог, не сильный был, болезненный. Словом, перебивались мать с сыном. Но дешевый кофе и серые оладьи всегда ждали Павла в этом доме.

Остановил такси, едва только вскинул руку. Таксист аж тормознул рывком. Таксисты, они тоже умеют распознать человека. Могут и тормознуть перед одним, могут проскочить мимо другого. Мимолетный взгляд, чего там углядишь, а углядывают – и скупого, и склочного, и вообще темноватого. Сперва ехали молча, потом завязался разговор, будто накопилось в пути доверие.

– С Севера? Геолог? – спросил таксист, когда недалеко уже осталось до Гоголевского бульвара.

– Как раз с самого что ни на есть юга.

– Геолог? – настаивал таксист. Был этот парень упрям, самонадеян, думал, видно, что все про все понимает. Павел глянул на него, было водителю примерно столько же лет, что и ему. Упрямый, нахмуренный лоб.

– Как живется-можется? – спросил Павел. – Четвертной в день приносишь?

Водитель помолчал, подумал, но решил довериться:

– Когда и больше. Если с аэродрома, если человеку что купить помочь. Москва большая, надо знать, где что лежит.

– Не преследуется эта деятельность?

– С умом надо действовать. А почему интересуетесь, зачем геологу наши дела?

– Я не геолог.

– Ну, свою-то жилу все же нашли. И не белоручка, не головастик. Вот потому и подумал. Кто, если не секрет?

– Змеелов, парень, слышал о такой профессии?

– О! Сила! По телеку раз смотрел. Приносит? Вижу, что приносит. Плата за страх. Нет, я бы на такую работу не пошел. Пустыня. А мне город нужен. Потом эти змеи, как на них ни гляди с медицинской точки зрения, не подарок. Конечно, ко всему можно привыкнуть, всякая профессия нужна. Да, не угадал.

– Почти угадал. Геологи рядом с нами ходят. Тот же песок, те же горы, то же небо.

– Тогда все мы геологи. Та же земля, то же небо, те же реки и моря.

– Пожалуй, так оно и есть, все мы геологи, все чего-то ищем.

– Жаль, только смену заступил. С таким товарищем, как вы, посидеть бы возле бутылочки. Ну, а за колючей все же побывали?

– А что, угадывается?

– В глазах что-то есть. Да и в змееловы не от хорошей жизни идут. Так или не так?

– Так, парень, так.

– Но знавали и другие деньки, поднимала судьба, верно говорю?

– Пожалуй.

– Вы простите, что расспрашиваю. Могу и помолчать.

– Так ведь и я расспрашиваю. Из такси никуда не тянет? Доволен?

– Такого человека нет, чтобы был доволен. На жизнь хватает, квартиру обставил, цветной телевизор купил. Чего еще? Жена не нудит – нету, нету, давай, давай, – это когда мы красть начинаем. Чего еще?

– Ну, а за колючей все же побывал?

Таксист напрягся:

– Так спросили или тоже по глазам?

– Крап на руках.

– Ведь свел же почти.

– Почти.

– А глаза, по глазам?

– А по глазам – московский таксист. Я думаю, это тоже школа.

– Интересный вы человек. Познакомиться бы! Да что, привезу, кивнем друг другу и – навеки.

– Может, еще встретимся.

– Не исключено. А настроение не совпадает. Человек к человеку не всегда может потянуться. Я почему сегодня такой счастливый? С женой вчера помирился. Цапаемся мы с ней, но любовь еще не прошла. Уверенно говорю, не прошла.

– Дети есть? Сын?

– Дочь. В девятый перешла. Поет – заслушаешься. Боюсь, в актрисы пойдет. Вожу я этих актрис. Как повезу, так о дочери все думаю. Раз, был такой случай, спутнику одной актрисочки молоденькой морду набил. Остановил машину, велел выйти и перекрестил по морде. Знал, что всем рискую, но не сдержался. Мразь мужик. Кого только не приходится возить. Со змеями, конечно, опаснее, но и клиент иной не лучше змеи. Нас, таксистов, и бьют, и убивают. Есть случаи.

– Я пять лет не был в Москве. Гляжу, много перемен, понастроено очень много. Ну, а вот в жизни, с людьми как?

– Вопрос не на одну, на две бутылки тянет. Честно, не знаю, что ответить. Вы серьезно спрашиваете?

– Серьезно.

– Если серьезно, не отвечу. Изругать все нетрудно, мы и ругаем. Жизнь вроде бы становится лучше, а нам все не так. Верно говорю? Но если серьезно, сами разбирайтесь. Для вас – одно, для меня – другое. Вот все же думаю в консерваторию дочь

отдать. И ведь отдам, примут. А кто я? Таксист всего-навсего, чаевых дел мастер. И квартиру мне дали, ну, не мне, жене, по ее работе. А кто она, моя жена? Обыкновенная ткачиха на «Трехгорке», и даже без каких-то там рекордов. Вот так. Ну, сидел. Отчасти сам виноват. Вот так вот. А ругать, что ж, ругать мы умеем, все умеем. Да и есть за что. Вам какой дом на Гоголевском?

– Вон тот, из розоватого камня.

– Приехали. Визитных карточек у нас с вами нет, так что до случая. Как говорится, это гора с горой не сходится, а человек с человеком... Нет, друг, на чай я со своих не беру.

Хлопнула дверца, укатило такси. Даже не спросил, как звать человека, себя не назвал. А ведь не о пустяках разговаривали. От друга не всегда такой откровенности дождешься, как вот от мимолетного спутника, таксиста, вот что подвез тебя к дому, где жил друг. А там, а с Костиком, какой ждет тебя разговор? Вчера вечером он позвонил ему, счастливо вслушиваясь в взволнованно-радостный голос. По телефону не стали долго разговаривать, отложили все до встречи. Костик был в отпуске, но, к счастью, оказался в Москве, приехал с дачи за продуктами. Женился Костик, снимал дачу, двойня у него – Машенька и Дашенька, это он успел рассказать. Мама жива, включилась в бабушкины заботы, прихварывает, но счастлива – и про это Костик успел рассказать. Узнав, откуда Павел звонит, расспрашивать ничего не стал, главный разговор отложили до встречи. И вот она – встреча, сейчас она начнется. Ну, друг, даже очень хороший друг, и главное, славный, добрый парень, но так уж ли ценим мы такую дружбу, так уж ли важна она нам, когда все у нас хорошо? Живем своей жизнью, встречаемся чем старше, тем реже, пусть даже и в одном живя городе, даже на одной улице, в одном доме. Но для Павла Шорохова Костик сейчас был не таким другом. Все иное, и дружба иная, когда тебе худо, когда начинаешь жизнь с нуля. Вот тогда-то вот и нужен друг. Да, да, не для делания дел, не для конкретной там помощи, а для подпора.

Прошел через арку в доме, вошел в обветшалый подъезд со следами недавнего небрежного ремонта, вошел в старенький лифт

– в первый его лифт в Москве по приезде и в первый его лифт за пять лет. Нажал на кнопку и стал возноситься к другу.

Не столько время меняет людей, сколько то, чем это время было для них заполнено. Когда отворилась, еще до звонка, едва только вышел из лифта, дверь квартиры, когда возник в дверях Костик, Павел сперва почти не узнал друга. Конечно, это был Костик, он и протягивал навстречу руки, как Костик, как бы даря всего себя, но столько нежданного было в этом человеке, нового во всем его облике, что Павел внутренне запнулся.

– Тебя не узнать, – сказал Костик, когда они обнялись.

– Это тебя не узнать.

– Прибавил? Убавил?

– Другой.

– Ну, женился, двух дочек отковал, станешь другим. А все-таки, прибавил в весе? В человеческом?

– Прибавил, говорю, не узнать.

– А ты какой-то дипломат, ей-богу! Нет, референт министра. Появилось нынче племя младое, незнакомое. Все про все знают, иностранцы по облику и архипатриоты в душе. Откуда ты такой? Пять лет не писал. Как отрезал! На кого обиделся? На меня? На весь мир? Но я-то не из этого мира.

– Костик, Костик, а ведь мне снилось, как выхожу из лифта, как открываешь ты дверь...

– Входи, брат, входи.

– И говоришь: входи, брат, входи.

– Ты помягчал, Павел.

– А ты повзрослел.

Они разглядывали друг друга, отыскивая в другом что-то свое, для себя.

– К сорока годам повзрослел! А раньше казался тебе мальчиком?

Они вошли в квартиру, теснясь в узком пространстве прихожей, все еще в обнимку, почти в упор разглядывая друг друга.

– Ну, здравствуй, Паша! С возвращением!

– Здравствуй. – Павел вобрал в себя воздух. – Кофе сварил?

– А как же!

– И этот запах мне снился. Еще оладьи.

– Оладьи тебе на даче будут. Входи, у нас все, как было.

– Нет, все по-другому.

– Та же мебель колченогая, богачом не стал.

– А эти игрушки по всем углам, а эти кроватки. Пожалуй, ты все же разбогател, Костик. Приметы молодой женщины везде. Разбогател!

Радостно было Павлу смотреть в лицо друга, счастливо откликнувшегося улыбкой на его слова. Невысокий, еще больше полысевший, Костик хорошел от своей улыбки, как и раньше, застенчивой, доверчивой, но и с новым, обретенным выражением, которое и меняло все в лице этого еще пять лет назад взрослого мальчика. Теперь это был взрослый человек, сложился человек. Всегда уступчивый, покладистый, этот, глядишь, не уступит, не кивнет против своей воли. Костик... Он перестал быть Костиком. Бугор... Эта кличка институтской поры теперь к нему не приникала.

А Костик свое расследование вел, рассматривал друга.

– Эти шрамы на руках где добыл?

– Сразу все за шрамы мои хватаются. Рубил укусы. Год проработал змееловом в Кара-Кале.

– Так. Ради денег?

– Конечно.

– И вот вернулся с толстой пачкой в кармане, новый, с иголки, чтобы снова в бой?

Они вошли в кухню, подсели к столу, на котором их ждал кофейник, нехитрая закуска, нераспечатанная, какая-то чужая на этом столе бутылка водки.

– Я не пью, но тебе припас. Впрочем, выпью и я за встречу. – Костик стал неумело распечатывать бутылку.

– Дай-ка. – Павел взял бутылку, вдруг удивившись собственным рукам, их силе, рваным рубцам на них, до черноты сожженной солнцем коже. – Да, в бой. Без боя разве что дается?

– Смотря какой бой, во имя чего. Я был в зале суда все три дня. Ты держался хорошо, ты казался порядочным человеком в этой, что ни говори, постыдной истории, когда дюжина умных, умнейших мужиков и баб час за часом и день за днем уличались в подлогах, приписках, в пересортице. Ты казался порядочным, потому что не валил на других. Но я-то знал, что ты укрываешь

кой-кого, не рубишь концы, а стало быть, Паша, собственного суда над собой у тебя тогда не было. Проскочить через суд, не замараться сверх меры, не унизиться в собственных глазах и в глазах тех, чье мнение ценил, перед этими бабенками, набившимися в зал, перед твоим богом Петром Григорьевичем и еще там перед кем-то, – вот чем ты тогда жил. Ты был в шоке, так думаю. Ты не понимал!..

– Выпьем, Костя, выпьем, Константин, прервем на минуточку обвинительную речь.

– Хорошо, выпьем! – Обливаясь, Костик выпил, спеша, даже не закусив, заговорил снова: – Ты не понимал, что тебя предают, равняя с собой, все эти жулики! Ты никогда не казался мне волком из их стаи, я считал, что опомнишься, успеешь, что это в тебе наносное пижонство, ну, жадность молодая до больших денег, ну, кружение головы, ну, еще там что-то непрочное, чужое. А ты на суде стал играть их игру. Ты казался мне тогда ослепшим. А потом исчез. Ни строки в ответ на десяток моих писем. Ни одного письма никому. Я решил, что это молчание – добрый признак. Ты обдумывал себя. Жизнь. Врачевал себя ненавистью. К ним?

– Выпьем, Костик, выпьем. А ты все же почти не изменился.

– Нет, ты ответь – к ним?

– Сейчас, вот только выпью для трезвости. – Павел отодвинул крошечную рюмку, налил себе в стакан, почти доверху налил, и стал пить, не ощущая водки, так обжег его этот вспыхнувший разговор. Он не был готов к нему, не для такого разговора сюда пришел, к другу. Он допил, подержал пустой стакан в сильной руке, да, в сильной руке, поглядел через стеклянную муть на Костика, который чуть поплыл в стекле, забавно менялось его лицо – то ширилось, то сужалось, становилось чужим.

– Ты кто, прокурор?

– Я твой друг, Паша. Ты был в институте главным для меня человеком. И потом, я гордился тобой, тем, как ты шел. Мне не чужда зависть, тебе я не завидовал. Я гордился тобой. Даже на суде... иногда...

– Почему не писал никому?.. – Павел задумался, трезвый, печальный, водка не брала. – Обдумывал там себя?.. Четыре года

отбивал день за днем. Работал на лесоповале. Себя перестал узнавать. Бытовики и урки работали рядом. С год пришлось отбиваться, просто отбиваться, пока не поверили, что я не поддамся. Ты красиво говоришь, Костик, ты умно говоришь. Я верю, что ты веришь в свои слова. Не берет меня водка, гляди, не берет. Да, я верю тебе. Но вот ты мне посоветуй, куда мне податься? На сто рублей в дворники? На полторы сотни к конвейеру? в разнорабочие? Ползти лет пять до штукатура пятого разряда? Ты не понял на том суде, что меня приговорили не к сроку, а на всю жизнь.

– Нет! Это ты, гляжу, ничего не понял. Пять лет кипело в тебе, сейчас кипит так, что водка сразу выкипела, а ты не уразумел. Ну, можно же, можно прожить честным человеком! Наново им зажить! Деньги нужны, согласен, но не любой ценой. Ты заплатил не за всю жизнь, зря ты так, ты заплатил за ту жизнь. Верю, новая – может быть другой!

– Сколько ты имеешь на своем бухгалтерстве?

– Теперь на круг двести пятьдесят. Я главный бухгалтер треста.

– Поздравляю. А жена твоя сколько имеет?

– Она учительница. Сто шестьдесят – сто восемьдесят. Мама на пенсии.

– Еще сто двадцать?

– Нет, девяносто.

– Так, и две девочки. Их надо вырастить, поднять, жизнь им открыть. Не худо бы тебе с женой, с мамой твоей, которая, ну, не знала жизни, а все вязала да вязала, не худо бы...

– Она и сейчас вяжет. И жена вяжет.

– И девочки будут вязать?

– И они будут.

– Вот и я говорю! Слушай, давай еще выпьем немного. Не вяжется разговор!

– Давай. – Костик сам налил, поровну поделив по рюмкам все, что оставалось в бутылке. И сразу они выпили, спеша к спасительному островку, который иногда дарит нетрезвость в море трезвого отчуждения. Выпили, помолчали, вслушиваясь в гул в себе, гася гнев, обиду от непонимания. Даже пожевали что-то, а Павел наклонился к кофейнику, крышку приподнял, понюхал.

– Ну можно же, можно прожить честным человеком, – не уступчиво, хоть и тихо, почти шепотом, повторил Костик. – Мы же русские интеллигенты, советские люди. Это не слова. стыдно! Лучше всю жизнь вязать, лучше как угодно бедствовать, но знать, что ты честен – перед собой, перед своим народом, – и знать, что твои дети растут в честной семье. Это сколько же стоит – это вот знание?

– Но девочки твои еще спросят у тебя, почему ты не можешь им купить это и это, это и это. У других есть, у них нет.

– Я у матери не спрашивал. Мои девочки поймут, что их отец и мать делают все, что в их силах. Ну, был бы я крупным инженером, художником, артистом, ну, им бы перепало больше. Я такой, какой получился. Мне не выпрыгнуть из себя. Но честным я могу быть.

– А вокруг? А другие?

– Ты себя не замарай. Страна, общество состоит из каждого из нас, а не из каких-то там других. Пусть они, другие, оглядываются и видят нас. Не знаю, как у кого, но в России, Паша, на одном брюхе никогда не умели жить. Мы странный народ. Совестьливый. А если что, мы мучаемся. Ты вот мучаешься. Рад этому. Рад, что водка тебя не берет. Мучаешься. На суде мучился. Обморочный был от стыда. Не от страха, что засудят, а от стыда. Потому я и гордился там тобой. Потому и сегодня ты мне друг. Потому и кричу так. А то бы, ну, выпили, ну, здравствуй, ну, прощай. Гляди-ка, я, кажется, опьянел. Сына повидал?

– Нет еще.

– Как же так?! Я бы прямо с аэродрома кинулся.

– Так это ты. – Павел поднялся. – Не с аэродрома, а с Казанского вокзала. Больше трех суток добирался. Как видишь, не спешил.

– Что ж, и это понять можно.

– Все-то ты понимаешь, Костик. Счастливый. Нет, ты счастливый. Я пойду. Верно, надо взглянуть на сына.

– Но ты еще зайдешь? Позвонишь? Зайдешь? Мама не простит тебе, если... Закатимся на дачу, там лес, речка. Мы даже не поговорили как следует.

Чуть пошатываясь, все же пошатываясь, хотя голова была ясна и печаль, печаль жила в нем, Павел шел по узенькому коридору к выходу, сопровождаемый Костиком, которого качало, он плечами бился о стены.

В дверях снова обнялись, но вышло это по-заученному, не от порыва.

Пригудел лифт, старенький, знавший их студентами.

– А мы иногда и раньше ссорились, правда? – сказал Костик. – Но ведь мирились же. Не сердись на меня. Согласен, не удался разговор. Я не судья тебе. Прости.

Павел вошел в лифт, вскинул руку, прощаясь, захлопнул дверцу, нажал на кнопку, низвергаясь от друга. Он еще успел услышать громко произнесенные Костиком слова:

– Съехал бы от этого Петра Григорьевича! Ведь пустая ж у меня квартира до конца лета!..

5.

Он решил к сыну сегодня не идти. Обезволил его этот разговор с Костиком, да и пьяноватым себя почувствовал, очутившись на улице. Решил просто так побродить по Москве, никакими вообще делами н... Powestler